Русское воскрешение Мэрилин Монро

Дмитрий Таганов

18+

Дмитрий Таганов

Русское воскрешение Мэрилин Монро

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Таганов Д. Н.

Русское воскрешение Мэрилин Монро / Д. Н. Таганов — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Триллер - фэнтези в стиле «кровь и юмор».Перед закатом Советского Союза партийное руководство решает клонировать Ленинскую гвардию, чтобы вдохнуть новую жизнь в угасающую идеологию и спасти великую страну. Одним из клонов, помимо самого Ленина, стала прелестная девушка, знаменитая американская актриса Мэрилин Монро, клонированная лишь в утешение старику-ученому. Через пару десятков лет клоны возвращаются в Москву, но совсем не такими, какими их ожидали политики. Большие деньги, политика, любовь и кровь сопровождают жизнь Мэрилин Монро в Москве. Улетая домой, она увозит с собой четыре урны с прахом братьев-клонов, и прощается навсегда с любовниками - американским дипломатом и русским частным детективом, который спас ей жизнь. Это вторая книга серии «Ник Соколов».

© Таганов Д. Н., 2019
© ЛитРес: Самиздат, 2019

Содержание

1. Опоздание 5
2. Первый мертвый 7
3 Киллер Ребров 11
4. Ленч 16
5. Похороны 20
6. Отец Мэрилин 24
7. Предсмертное поручение 28
8. Счастье и несчастье 32
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Дмитрий Таганов
Русское воскрешение Мэрилин Монро

1. Опоздание

Я ждал его уже более получаса. Сидел у окна в полупустом кафе, поглядывал на желтые осенние березы, на голубое небо, а еще, с любовью, на свой новый мотоцикл «Харлей» оливкового цвета. Стояло чудесное «бабье лето», последние теплые деньки, и пока не пришлось залезть до весны в кабину моего старого джипа, я не слезал с его седла.

Странно было, что этот человек опаздывал в первый же день, – сам вчера просил о встрече, сам назначил время и не пришел. Это был новый мой клиент. Возможно, что клиент. Потому, что окончательного согласия я не дал, телефонного разговора для этого было недостаточно, тем более, что он все время мялся, намекая, что по телефону говорить обо всем не может. Собственно говоря, я даже не совсем понял его проблему, и что он от меня хочет. Но я недавно приехал из отпуска, из северных лесов, где бродил с ружьем и корзинкой, теперь был полностью свободен, и даже успел соскучиться по настоящему делу. Поэтому, я не был, как обычно, привередлив, отсеивая банальные или явно криминальные предложения, и согласился с ним встретиться.

Я – частный следователь. Или частный детектив, если так звучит лучше. Специализируюсь на корпоративных конфликтах. Проще говоря, на разборках, обмане, скандалах, воровстве внутри крупных частных компаний. Все проблемы у них вокруг денег, и очень больших денег. И все это сопровождается кровью, убийствами, похищениями, вымогательством и прочим гноем. Но эти деньги, за которые они готовы перегрызть глотку, приносят им потом только горе, я убеждаюсь в этом каждый месяц. Но позвонивший мне вчера был не из этого круга, он был связан с политикой. С очень большой политикой, – с политикой в преддверии предстоящих выборов в Думу. Для меня это было что-то новенькое, и хотя я сразу предупредил его о моей специализации, и о поверхностном знакомстве с текущей политикой, он явно настаивал, и я тогда решил посмотреть на него живьем.

Свой стакан апельсинового сока я уже давно выпил, официант из своего угла ловил мой взгляд, и тогда я решил подождать последние десять минут, и заказать себе большую порцию мороженого. В конце концов, люди, которые ко мне обращаются, очень часто находятся под таким стрессом, что могут не только опоздать или даже забыть о назначенной встрече, а вообще попасть в больницу, вместо этого, с нервным срывом. И надо их жалеть. Черт с ним, решил я, подожду еще. Но не успел официант принести мне мороженое, как в кармане заверещал телефон. Я сразу узнал его голос.

– Это Николай? Соколов? Это вы?

– Да, да, я слушаю.

– Фомин говорит. Алло? Тут шумно, плохо слышу. Я не приеду, не могу, тут форс-мажорные обстоятельства. Вы слышите?

Я подтвердил. Голос у него был сегодня с дрожью, с придыханием, слышны были еще мужские голоса и негромкие стуки.

– Николай, вы меня извините. Рядом со мной мертвое тело. Алло! Слышите меня? Тело нашего сотрудника, нашли только утром. Сейчас тут следователи, и все такое, я не могу к вам приехать.

– Да, конечно, не беспокойтесь, в другой раз как-нибудь…

– Нет, нет, сегодня! Вы должны сюда приехать, сейчас же. Алло, вы слышите?

Я немного оторопел: сразу ехать и смотреть труп, еще не увидав, для начала, нового клиента и не зная в чем, собственно, будет моя работа, мне не приходилось.

– К вам сейчас? Труп смотреть?

– Да, сразу, пока тело не увезли. Вы можете? Пожалуйста.

– Что я должен в нем увидеть?

– Причину его смерти. Это нам очень важно.

– Кому «нам»?

– Руководству нашей партии.

– Хорошо, я приеду.

Я записал адрес. Это было в получасе езды на моем мотоцикле, внутри Садового кольца. Штаб предвыборной кампании их партии. Коммунистической партии. Одной из них: их было теперь несколько в одной только Москве, и тоже внутри Садового кольца.

До мороженого я так и не дотронулся. Вышел из кафе, сел на свой новенький «Харлей», легко тронулся, и в моей груди, или чуть ниже, подложечкой, приятно затрепетало. Это был понятный мне знак: в ближайшие дни мне скучно не будет.

2. Первый мертвый

Когда я приехал, тело уже лежало на двух сдвинутых письменных столах. От головы с растрепанными красивыми волосами до голых ступней тянулся, сильно провисая, толстый электрокабель.

Я узнал его сразу, как только взглянул в лицо с полузакрытыми глазами. Но не только лицо, глаза, но и все вокруг, включая этот непонятный перепутанный кабель, показалось мне совершенно невероятным, стопроцентным дежа вю. Или точнее, на сто процентов старую, почти столетнюю фотографию, которую видел столько раз раньше.

Следственная бригада только что до меня уехала, и теперь тут оставались только свои. Когда я приехал и попытался войти с лестничной площадки в это помещение, дорогу мне сразу преградили два дюжих молодца. Это не были профессиональные охранники. На левых рукавах у них были красные повязки. Оба походили на добровольцев-дружинников еще советского образца. Приняв меня, наверное, за рядового члена их партии, старший из них заявил мне, что «никто из цэ-ка партии» сегодня не принимает, и чтобы я позвонил завтра. От так и сказал: «цэ-ка», само собой было – коммунистической. Для меня, выросшего при советской власти, когда в стране была только одна эта партия, и не могло быть никакой другой, это сокращение подействовало как электричество. Забавно было только, что их Центральный Комитет принимал своих членов теперь так запросто, в этом простецком офисе средней руки. Времена действительно изменились.

Короче, я им сказал, что меня срочно вызвал какой-то Фомин, тогда один дружинник метнулся за дверь, а обратно они появились уже вдвоем. Вторым был крепкий мужчина, под пятьдесят, коротко стриженый, в хорошем темном костюме и при галстуке. Молча, со скорбным лицом, как на похоронах, он крепко пожал мне руку и жестом пригласил следовать за собой.

Офис был самый обыкновенный, но просторный, на столах ворохи бумаг и не очень новая оргтехника. Но здесь не было сейчас ни души, стояла полная тишина, какая бывает в квартирах, где лежит покойник. Но за следующей дверью обстановка вдруг резко изменилась. Как будто я попал сразу на тридцать лет назад. Передо мной стоял на постаменте гипсовый бюст Ленина метровой высоты. Ленина Владимира Ильича, основателя этой партии, священной для коммунистов личности. На стене за бюстом были растянуты два знамени. На их тяжелой темно-красной материи тоже блестели золотые профили великого Ленина.

Тридцать лет назад такие гипсовые бюсты великого вождя стояли во всех учреждениях. Все учреждения были советскими, и во всех они стояли. В известные памятные дни бюст вождя убирался цветами, перед ним произносились горячие речи, давались клятвы. Это были официальные учрежденческие святилища. В школах перед бюстом Ленина принимали в пионеры и в комсомольцы. В исследовательских институтах белые бюсты в конференц-залах освещали доклады ученых. На заводах перед бюстом торжественно награждали грамотами и вымпелами победителей социалистического соревнования и добившихся выдающихся результатов «ударников коммунистического труда». В армии и флоте в «ленинской комнате» политруки вручали перед бюстом боевые награды.

Поэтому, проходя мимо этого бюста, я непроизвольно замедлил шаг, мой провожатый тоже, и мы остановились. Я не видал гипсового Ильича уже несколько десятилетий, поэтому смотрел на него действительно пораженный. Когда я отвел глаза от вождя и был готов следовать за ним дальше, он вполголоса, наконец, представился:

– Вы разговаривали по телефону со мной. Я – Фомин.

В ответ я только покивал головой. Он глубоко вздохнул и сказал «Пройдемте».

За следующей дверью я увидал сдвинутые столы и на них мертвое тело. Я обошел его медленно кругом и только потом посмотрел на его лицо.

Наверное, у меня было тогда оторопелое выражение лица, потому что сразу заметил, как Фомин метнул на меня быстрый проницательный взгляд. Я нагнулся над телом и рассмотрел его вытянутую шею и синюю полосу от петли.

– Вы узнали его?

Я не ответил. Это человек был мертв, мертвее не бывает. Иначе, я бы принял все это за странную и нехорошую инсценировку – из-за невероятно похожего лица, и всего, вплоть до провода, на котором он повесился, протянутого и теперь над его неподвижным телом. Как будто это была ожившая фотография почти вековой давности. Передо мной лежало тело русского поэта Сергея Есенина, повесившегося более девяноста лет тому назад в петербургской гостинице.

– Как звали этого человека? – спросил я, не оборачиваясь и продолжая рассматривать знакомые черты лица.

– Я понимаю ваше удивление. Его звали тоже Сергей. Он был нашим сотрудником, работал в аппарате партии.

– Поразительное сходство.

– И он тоже писал стихи. Внешне его можно было принять за близнеца. И он боготворил великого поэта.

– Похож… Но слишком вошел в образ. В петлю зачем же лезть!

Я вспомнил, что после самоубийства поэта Сергея Есенина девяносто лет назад, за ним в петлю полезли десятки его почитателей, как бы их сегодня назвали, «фанатов». Возможно, и этот был из тех же, только очень и очень запоздалый. И внешне неотличимый.

– Похоже на самоубийство, – сказал я, так и не повернувшись к Фомину.

– Следователь сказал мне то же самое.

– Вы думаете иначе?

– Я хотел бы услышать сначала ваше квалифицированное мнение.

– Когда его нашли?

– Утром. Нашли сотрудники. Висел на крюке от люстры. На этом кабеле. Следователь сказал, что по всем признакам, он провисел здесь всю ночь.

– Тело сняли следователи?

– Да. Но я сделал утром несколько фотоснимков перед этим. Взгляните. – Он вынул из кармана маленькую цифровую камеру и протянул ее мне.

Один за другим я просмотрел внимательно все пять снимков, сделанных с разных сторон. Висящее на крюке худое тело, шея неестественно вытянута, глаза полуоткрыты. Я попробовал на этих снимках увеличить зумом изображение шеи. Затяжка петли могла что-нибудь прояснить. Чужая рука затягивает петлю резко и сильно, со злобой. Своя – всегда робко, страшась петли и боясь причинить лишнюю боль. Но все эти изображения были слишком мелкими, и зум только размазывал шею на мутные и бледные квадраты.

Но на одном из снимков был виден край окна. Стекло было темным, и был заметен отблеск от вспышки фотокамеры. В сентябре такое темное стекло могло быть не позднее семи утра. «Ранехонько они начинают трудиться в этой партии» – подумал тогда я.

– Хорошие фото. – сказал я и вернул камеру. – Что-нибудь еще?

– Вот нашли на его столе…

Фомин протянул мне лист бумаги. Это была обыкновенная принтерная распечатка. Но шрифт был выбран не стандартный, а наклонный, как бы рукописный. И всего две трочки:

Я ухожу из сентября
Лечу к Тебе, встречай меня.

Стишок, конечно, был в самую тему. Только было странно, что поэт последние в своей жизни строчки написал не своей рукой, а набрал на компьютере, да еще выбрал особый витиеватый шрифт. Но кто поймет этих поэтов…

– Анализ крови у него взяли?

– Зачем?

– На алкоголь, наркотики, сильно действующие снотворные.

– Не знаю… Я не видел.

Ничего больше на поверхности не было, поэтому я начал закругляться:

– Похоже на суицид.

– Я тоже так думаю. Он был неуравновешенный молодой человек. Очень хороший и очень неуравновешенный. Мы все скорбим.

– Родственников оповестили?

– У него нет родственников. Во всяком случае, мы ничего о них не знаем. И он был иностранцем.

– Что ж, очень жаль… Очень жаль этого Сережу. Мы с вами закончили?

– Еще нет… Я хотел бы просить вас поработать у нас пару недель. Как вы знаете, в разгаре предвыборная кампания. Нашу партию ждет успех на этих выборах, несомненный успех, но у нас много недоброжелателей…

– Я не выполняю охранных функций.

– Нет, нет, не нужно охранных… У нас есть дружинники, и наш спонсор предоставляет нам, когда это требуется, свою службу безопасности. Этого всего достаточно, нам не нужен еще один охранник.

– А кто вам нужен?

– Скажем так, аналитик опасных для нас ситуаций. Для работы лично со мной.

– Позвольте узнать вашу должность.

– Я Генеральный секретарь Коммунистической партии ленинцев. Единственной по-настоящему ленинской партии.

«Генеральный…Привелось же мне!» – подумал я. Но даже не очень удивился: лимит на удивления сегодня весь вышел. Фомин продолжал:

– … Наша партия на этих выборах не только войдет в Думу, она станет законной партией власти, весь наш народ встанет за нас, вся страна, – вы убедитесь в этом через неделю! Нынешняя оккупационная власть рухнет, как гнилое дерево…

«Ничего себе, – подумал я, – вот убежденность! Позавидовать можно. Неужели и этот Сережа был таким? Что же он повесился?». Но я прервал его пафосную речевку.

– Извините… Но я должен вас предупредить. Я не коммунист, и даже, скорее, наоборот.

– Мне это известно. Но для вашей работы это неважно. Да и через пару недель, быть может, вы им станете. Не думайте, я бы вас никогда не пригласил, если бы не знал о вас от своего друга, пламенного коммуниста, к сожалению, уже покойного.

Я вопросительно смотрел на него.

– Вы должны его помнить. Он был членом нашей партии. Коммунист Глотов.

«Господи! – подумал я, – так вот кто меня ему рекомендовал…». Действительно, год тому назад я спас один крупный завод, где тот был директором, от захвата рейдерами. И даже описал все, как было, в таких же записках, как эти. Но этот генсек, наверное, не знает последнего часа жизни своего друга. Не знает, что мне тогда пришлось, – чтобы остановить этого члена их партии, – стрелять в него с двух метров, и попасть куда целился.

– Хорошо, – сказал я вслух, – я поработаю с вами.

И назвал ему свои немалые расценки, посуточно, и заметил по глазам, что они совершенно его не смутили. «Похоже, – подумал я, – спонсор, которого он упомянул, денег на них

не жалеет. А если тот умеет их зарабатывать, то должен и знать на какую лошадку ставить на этих выборах. Деньги – не слова, их возвращать надо».

Фомин проводил меня до дверей. Очень вежливый был этот Генеральный секретарь. Завидев нас, двое с повязками, отступили от дверей и почтительно вытянулись. Не доходя них, я остановился и негромко сказал:

– Не знаю, как поведут это дело следователи… но я бы на вашем месте настоял, чтобы сделали Сереже все анализы, включая содержимого его желудка.

Тот только кивнул и громко сказал, сразу изменившемся при посторонних тоном:

– Оставьте это дело, его доведут без вас. Тем более, он был иностранцем, гражданином Индии. Он прибыл в нашу страну только месяц назад. Скоро у вас будет много работы, наши сотрудники введут вас в курс дела. Через несколько дней произойдут очень важные для нашей партии и всего народа события. Не теряйте зря время, Николай.

Когда я выходил из подъезда, за моим Харлеем остановилась белая Газель с красными санитарными крестами. Из нее вышли двое крепких мужичков в темно-синих халатах и со следами частого употребления алкоголя на лицах. Это была именуемая так в народе «трупо-возка», она приехала, чтобы отвезти нашего Сережу в морг.

Я садился на свой мотоцикл, а за моей спиной в кабине «Газели» зазвенел мобильный телефон, и водитель повел какой-то разговор. Потом водитель высунулся в окно и крикнул входившим уже в подъезд санитарам:

– Эй, вы недолго там! Сейчас позвонили – еще одного забрать по пути надо. Больше недели в квартире пролежал, только сегодня нашли. Тухлый, говорят, сильно.

3 Киллер Ребров

Иван Ребров проснулся, как всегда, слишком рано, еще не было шести. Когда бы он ни ложился и не засыпал, трезвый или, чаще, пьяный, просыпался он всегда в это время. И не знал, куда себя девать, особенно в последние годы. Он соскользнул с широкой кровати, прошел по ковру к двери и, как всегда мельком и без всякого интереса взглянул в высокое зеркало на свое голое, жилистое тридцати пяти летнее тело. Не закрывая за собой дверь в туалете, он начал мочиться и внимательно рассматривать бурую лужицу в унитазе. Сегодня с утра она была почти кирпичного цвета: то ли от лекарств, то ли от самой болезни. И он первый раз за день осторожно, как ребенка, потрогал свою пухлую нежную печень.

На обратном пути, не доходя своей полуоткрытой двери, он взялся за ручку соседней, второй его спальни и резко дернул. На кровати, разметавшись среди скомканных простыней, спала вчерашняя девчонка. Вчера вечером его шофер привез ему эту ночную бабочку. Ребров даже не спросил ее имени – все равно бы та соврала. Он так и звал ее потом Машей, как и всех их до этого.

Вчера у него ничего с ней не получилось. После ужина опять заныло в боку, но он попробовал ее приласкать, потискать, но от этого его стало даже подташнивать. Так они вдвоем и просидели молча у телевизора допоздна. Когда он расплатился с ней, дал денег на такси, стал выпроваживать, она стала проситься переночевать, ехать ей было некуда. Он не любил этого, но подумал, что, может, утром сам будет здоровее, сильнее, и надо бы попробовать, может, и вообще ему надо только по утрам сексом заниматься. Она осталась.

Теперь он прошел от двери к кровати, встал рядом и осторожно оттянул в сторону простыню. Она лежала на спине, слегка согнув в коленях ноги, загорелая и с резкой белой полосой там, где должны были быть ее трусики. Он несколько раз оглядел ее красивое голое тело, вверх и вниз, прислушиваясь к собственному желанию. Но его не было, как и вчера. Он чувствовал только то большое и холодное, но пока еще не ноющее, – в своем правом боку.

Тогда его начала охватывать ярость. Он захватил край простыни, чтобы дернуть, разбудить, сунуть ей еще денег, чтобы только скорее одевалась, ловила на шоссе такси и убиралась в свою Москву. Но вовремя подумал, что поднимется плач, крики, шум, и ему стало жалко разрушать утреннюю тишину дома. Он стиснул зубы, бросил на кровать простыню и пошел к себе.

Он сел в кресло перед телевизором, но не включил, а стал смотреть в окно. С высокого второго этажа его особняка был виден желтеющий далекий лес, бегущие по утреннему небу облака. Смотрел и припоминал вчерашний телефонный разговор. Звонок раздался поздно вечером, когда Ребров сидел у телевизора с этой девчонкой. Звонил Левко, президент его банка. После нескольких обычных приветственных слов Левко сразу спросил:

– Ты завтра не зайдешь ко мне к часу? Вместе и покушаем.

Давненько они не обедали вместе. С чего бы вдруг завтра? Да и сегодня мельком виделись, поздоровались, – ничего такого тот не сказал. Объявилось что-то, значит, хорошее или плохое. Хорошего нынче ждать было неоткуда, значит – нехорошее… Ребров только и ответил в трубку:

– Зайду.

– Ты какую кухню предпочитаешь, французскую или китайскую?

У Левко было два личных повара: настоящий француз и настоящий китаец, и они готовили ему по очереди. Но у Реброва от этого вопроса снова подступила тошнота, и он чуть не бросил телефонную трубку, но сдержался и тихо ответил:

– Мне все равно, Леня. Пока.

Реброву принадлежала половина этого банка. Точнее, сорок девять процентов. Остальные проценты были у Левко. Левко был президентом, а Ребров, как был начальником службы

безопасности банка, так и оставался им десять уже лет. Но на звучные и важные должности ему было наплевать.

Ребров стал перебирать в уме, что бы еще плохого могло приключиться с их банком, или, вернее, с его деньгами. Из недавнего мирового кризиса их банк выходил общипанным из-за тысяч невозвращенных кредитов, с убытками на десятки миллионов долларов из-за обесценившихся акций в их портфеле, с громадными долгами в валюте перед иностранными банками. Да еще они засветились недавно с серым бизнесом по обналичке крупных сумм. Если лишат из-за этого лицензии, то банку «хана». И его миллионам вместе с ним. Сколько их было вначале? – почти двадцать зеленых. Он даже всю свою наличку держал в этом банке, и теперь она была там – если была. А у Левко? Все на офшорах, в Швейцарии… «Прохвост…».

Первого человека Ребров убил в шестнадцать лет. Он сбежал тогда из школы-интерната и стал работать в бригаде лесорубов. Это было в начале девяностых. В их новгородской глубинке тогда развалились все совхозы, поломанную технику и голодных телят раздали таким же голодным крестьянам. Раздали даже землю, с помпой, в виде бумажек с печатями на паи, с которыми никто не знал что делать, и отдали бы с радостью за бутылку, если бы кто-нибудь ее тогда предложил. Фермерами они не стали, – потому что это надо уметь, этому надо учиться, а в головах была тогда разруха. Одно могло прокормить и напоить водкой всех местных мужиков – лес.

Самые тертые и крутые скупали старую или краденную технику, сколачивали бригады из ошалевших от безденежья мужиков, запасались ксивами на делянки у продажных лесников и, как хищники, рубили все подряд. По ночам с надрывным воем шли по длинным лесным дорогам в балтийские порты перегруженные лесовозы. Без лишних проволочек они прямиком подходили к бортам сухогрузов с чужими скандинавскими флагами, и когтистая лапа крана захватывала наши северные елки и уносила их в темные трюмы. Расплачивались тут же, наличкой, набитой в дешевые китайские сумки. При свете фар, над раскаленными радиаторами грузовиков деньги пересчитывались только по толстым перевязанным веревкой пачками: этих, из леса, обмануть боялись.

Иван Ребров работал у быстрого и наглого парня, у Степана. Тот умел вертеть эти лесные дела, – все на длинном пути у него были прикормлены, смазаны, и лес гнали в порт каждую ночь. Но вот только своим работягам он стал задерживать с заработанным, и уже подолгу. Мужики, привыкшие к водке с малолетства, только глухо матерились и, как могли, терпели из последней мочи, деваться все равно было им некуда. Может, и задерживал им Степа заработанное, чтобы меньше те пили, да больше пилили.

Иван Ребров и сам не мог уже без водки. В школе-интернате не только своей «котлой», а и с воспитателями вместе напивались. «Воспитатели» там те еще были, – из не сумевшей никуда приткнуться до армии местной шелупони. Они же и выручали бутылкой, когда свои кончались, полученные за грибы да клюкву, сданные продавщице автолавки.

Раз возвращались они в феврале с дельней делянки, груженые, Ребров да шофер. Сумерки, мороз, в желудке голод, и выпить позарез надо. Шли по узкой ухабистой лежневке, и фары как будто расталкивали в стороны обступавшие черные елки. И вот за поворотом, там, где они пилили всю прошлую неделю, вспыхнули под их фарами два рубина задних габариток. Понятно было, чей стоял в этом глухом лесу джип: Степан приехал на вырубку смотреть хозяйским глазом штабеля готового в путь леса.

– Останови, – вдруг неожиданно для себя сказал шоферу Ребров.

Почти уже в темноте пошел он по развороченной тракторными гусеницами дороге на вырубку, и злоба, как кошка, драла его когтями. Он шел только чтобы достать себе на выпивку, да на нормальную жратву, потому, что опостыло то «едалово», что готовила им повариха. Но когда он увидал Степана с фонариком у штабелей, то достал свой нож. Он думал, что просто покажет его Степану, и тот поймет: работягам без денег уже «край».

Но Степан слышал рев их грузовика, и теперь стоял, смотрел, как шел к нему в темноте кто-то. Поэтому Ребров снял шапку и накрыл ею нож. В лесу человек чует недоброе сразу, и Степан это почуял, и когда Ребров был в пяти метрах, да с каким-то каменным лицом, то взял в руки метровую лесину и приготовился. Ближе, когда они увидали в сумерках глаза друг у друга, все стало ясным, разговаривать было поздно. Степан стал поднимать лесину, но Ребров вдруг неожиданно подкинул свою шапку вверх и вперед, на Степана, тот вскинул на нее голову, открыл из-под толстого воротника овчинного полушубка шею, и под его кадык сразу вошел нож.

Степан еще хрипел и брызгал на снег кровавой пеной из распоротого горла, а Ребров уже распахнул его полушубок и шарил по карманам. Из бумажника он выкинул на снег все, кроме денег, но и тех было тут мало, – кто же ездит по этому лесу с деньгами.

Когда тронулись, шофер спросил:

– Ну, поговорили?

– Нет.

До поселка ехали молча, только у магазина Ребров сказал:

– Тормозни тут.

Тяжелый лесовоз заскрипел, застонал и остановился. В магазине Ребров взял две бутылки водки и две банки свиной тушенки, на большее денег не хватило. В кабине одну бутылку и одну банку он протянул шоферу. Тот поглядел осторожно Реброву в глаза и не сразу взял. Но потом забрал и кинул под сидение.

– Если кому-нибудь ляпнешь, что в лесу останавливались, голову отпилю, – сказал тихо и просто Ребров.

Шофер, здоровый взрослый мужик, снова посмотрел этому мальцу в глаза, кивнул и ничего не ответил.

Джип скоро нашли, и приезжала полиция. Они побродили по свежезаваленной снегом делянке, но оставили это дело до весны. Степана нашли только в конце апреля, когда растаяло на открытой вырубке, и появился этот «подснежник».

«Картежник хренов…» – опять подумал Ребров про Левко. Это же мой банк, весь мой, я все эти деньги выбил тогда у должников. Без меня ни копейки бы тебе не отдали!

Действительно, после дефолта в девяносто восьмом, когда даже само государство отказалось возвращать долги, когда и появилось это крылатое «только трусы отдают долги», этот самый Левко дал ему список с десятком фамилий, и с многозначными суммами против каждой, и сказал бандиту Реброву:

– Сумеешь выбить из них долги – половина твоя. Новый банк с тобой откроем.

Бандит Ребров выбил долги почти из всех этих господ. Единственный, кто не отдал тогда по-хорошему, через день был мертв.

На эти деньги они вдвоем открыли новый банк, «Стрэйт-Кредит». Слово «стрэйт» по-английски значит «прямой», вполне благопристойное имя для банка. Но было и другое значение этого слова, – выигрышная комбинация карт в покере, Straight Flush. Картежник Левко имел в виду как раз это значение слова.

За окном, внизу в деревне, затявкали собаки, прокричал запоздалый петух, и Реброву стало хорошо от этих родных звуков. Когда-то в эти утренние часы его мать возвращалась из коровника с ведром парного молока, затапливала печь, и под треск разгорающихся березовых поленьев в избе становилось радостно.

Когда его занесло в эту Москву, он сначала с трудом верил, что тут могут постоянно жить, и быть всем довольными, нормальные люди. Когда у него появились первые миллионы, он сразу постарался убраться из этого города. Один толстый реалтер повез его смотреть только что построенный элитный коттеджный поселок. Но когда Ребров увидал каменные особняки с башенками, посмотрел на самодовольные морды этой «элиты», которая должна была скоро

стать его соседями, он даже не стал смотреть что там внутри, в его дворце, а повернулся и пошел назад к машине.

Реалтеру он сказал, чтобы искал ему просто землю где-нибудь в деревне. Тот быстро нашел. Здесь. В этой красивой, на горе, но обветшалой деревне четверо соседних семей мечтали стать москвичами. Ребров купил им за два миллиона зеленых четыре квартиры в столице, сжег все их избенки, сараюшки, и начал строиться. Строил из онежских елей, толщиной не менее полуметра. Сам рубил сруб, и с большим удовольствием. Нанятые плотники только цокали языками, да качали головами.

Всю землю он засадил яблонями. Но потом допустил ошибку, которую до сих пор не знал, как исправить. Он всю землю обнес глухим забором из штампованных жестяных листов. Снаружи, приятно и ровно окрашенный, забор смотрелся неплохо. Но изнутри, где было еще все голо, и взгляд всюду упирался в глухую стенку, возникало тоскливое чувство, что ты в «зоне». Ребров не был в лагере, Бог его миловал, но он отсидел три месяца в бутырской предвариловке, дожидаясь суда. Поэтому волю ценить научился.

Любил Ребров первый и последний раз в жизни в восемнадцать лет. Она жила в соседней деревне, на другой стороне озера. Та деревня была больше, там был еще тогда открыт магазин, была и начальная, на два первых класса школа. В школу мальчонка Ребров ездил туда верхом на лошади. Каждый день восемь километров вокруг озера в одну сторону, и восемь обратно. Только в январе, когда начинались волчьи свадьбы, и волки забегали, скаля зубы, даже в деревни, отец запрягал лошадь в сани, бросал в них старый ржавый дробовик и вез своего сына учиться. Но так бывало, если отца могли разбудить рано утром, чаще всего к вечеру в стельку пьяного.

Но с мая до поздней осени, если не было сильного ветра, Ребров плавал в ту деревню на лодке. Лодки тут были долбленые, из двух толстых осин, гладко выструганных и сбитых прочными клиньями. Других и не строили. В этом озерном краю на каждом лесном берегу сушилось несколько таких «роек», все для общего пользования. Устойчивые, подъемные, ухода они не требовали, – их только переворачивали в конце осени вверх днищами осин и оставляли так до весны. На них часто перевозили коров, и менее часто – гробы с покойниками, в последний путь по родному озеру на кладбище.

Кладбище было еще дальше за той деревней, у другого озера, там лежали все деды и бабки Реброва, покоилась и его мать. Была там когда-то и большая церковь, но в тридцатых годах большевики разобрали ее на кирпич. Оставили только высокую колокольню, из особых военно-тактических соображений. И теперь эта колокольня, обсыпавшаяся, с растущими из проломов высоко над землей кустами, поднималась над лесами, озерами, обезлюдившими деревнями и одна напоминала, что была тут когда-то другая, правильная жизнь.

С Машей Ребров учился еще в первых классах начальной школы, в ее деревне. Но с третьего года его перевели в далекую школу-интернат, а ее увезли к родным в райцентр, в десятилетку. Мельком виделись, конечно, летом, на озере, но любовь пришла только в восемнадцать.

Он снова работал в лесу, в другой бригаде. Хорошо работал – и пилил, и возил. Платили тут не в пример регулярнее после того случая, даже аванс иногда выдавали. Он даже успел деньжат подкопить: хотел избу поправить, надстроить, перед тем, как жену в нее ввести. Ждали только весны, чтобы расписаться, когда ей исполнится восемнадцать.

Ребров работал всю зиму на дальних делянках, но часто кто-нибудь из земляков приезжал-уезжал, и они оправляли друг дружке нежные хорошие записки. Сам он домой не ездил специально, хотел испытать себя и ее: ему скоро было идти в армию. И вот испытал. Записки к концу зимы стали приходить в лес реже и стали они как-то суше. Потом вообще перестали приходить. А в апреле один вернувшийся из деревни земляк так прямо и сказал Реброву:

– Загуляла твоя Маша.

Поехал домой Ребров только на майские праздники. Приплыл на ройках в ее деревню, но к ней сразу не пошел, остался у магазина. Тут было людно, шумно, он выпил с одними, с другими, но в душе у него стоял озноб. И вдруг он увидал ее. Она шла по улице под ручку с одним знакомым малым. Ребята, что пили с Ребровым, знавшие про его любовь, как будто сразу осеклись, замолкли.

Она тоже увидала его. И как будто желая спрятать своего парня от Реброва, вдруг суетливо повернулась – спиной, очень тесно к тому, парню, и грудью к Реброву. Без улыбки, и только с перепуганным лицом, как будто птичка, защищающая своего птенца.

Ребров шагнул к ней, хотел только поговорить, но она вдруг стала пятиться от него назад, толкая спиной и этого малого. Ребров сразу все понял. В его душе, тронутой уже водкой, как что-то вспыхнуло. Он вынул свой нож и шагнул к ним. Он должен был убить этого малого, а после – все равно, будь, что будет.

И вдруг она бросилась на него, на нож в его руке, обвила руками шею, стала целовать лицо, толкать его грудью назад. Он даже нож свой не успел убрать, и тот застрял между ними, лезвием в нее, а она все целовала его и толкала назад. Он уже чувствовал, что режет ее, но она целовала и толкала. Наконец, он выкинул руку с ножом вбок, глянул – лезвие было красным. Другой рукой Ребров отстранил ей плечо, чтобы увидеть ее платье, – и на платье расплывалось пятно того же цвета.

Как что-то натянутое в нем, долго и сильно, вдруг оборвалось. Он протянул к кровавому пятну на ее платье руку, но она сразу опрянула от него. Он посмотрел ей в глаза, в них был только страх. Он разжал руку с ножом, и тот упал на дорогу, – прижал обе ладони к своему лицу, повернулся и медленно пошел прочь. Ноги привели его к озеру, он забрался в свою лодку и сел. Но что-то вдруг сдавило ему горло, подкатило снизу, он зажал ладонями глаза и затрясся. Скоро прибежал за ним его младший братишка, и Ребров захватил рукой из озера холодную майскую воду и плеснул ее себе в лицо.

Дома он собрал свою спортивную сумку, потряс за плечо, да так и не разбудил пьяного отца, и пошел в ночь за двадцать километров на станцию. Пассажирский поезд останавливался здесь раз в сутки. По четным дням – в сторону Питера, по нечетным – на Москву. Раннее утро оказалось нечетным, и Ребров уехал в Москву. Если бы утро оказалось четным, то поезд привез бы Реброва в Питер. Там жил и работал на заводе его дядька по матери, хороший и непьющий мужик. Он, когда приезжал в отпуск, всегда звал Реброва к себе, на свой завод.

Но выпал нечет. Ребров уехал в Москву и стал там сначала бандитом, а потом киллером. В свою деревню он никогда больше не вернулся.

4. Ленч

Левко выбрал для ленча китайскую кухню. На первое суп из ласточкиного гнезда, – это из маленьких рыбок, которые китайские ласточки натаскали, чтобы построить свое гнездо, и чем-то вкусным их потом склеили. Второе было проще: утка по-пекински с ростками бамбука. Личного повара Левко завел еще в девяностых, когда открыл свой первый банк. Но тогда это было по необходимости: в те лихие годы, чем реже банкир светился в людных местах, тем дольше мог прожить.

Свой первый банк он назвал тогда, как азартный картежник, «Вист-кредит». Но тот его банк больше занимал сам, чем выдавал кредиты. А если и давал, только тем, кто вез в страну тряпичный «секонд-хэнд», да просроченные колбасы и консервы из чужих магазинов. Да и только потому, что те оборачивали его деньги за неделю. Главным делом этого банка, с дверью в подворотне, был отмывка преступных денег и перегонка их за границу, если этим рублям хотелось стать инвалютой. А еще обналичкой таких же преступно нажитых рублей, если они хотели тут пока и оставаться. Проблемы были только с чемоданами, чтобы возить туда-сюда эти миллиарды тех еще, «деревянных» рублей.

Еще Левко набил себе хорошо карманы на такой глупой затее, как чубайсовские приватизационные ваучеры, – если кто их еще помнит. Их автор подошел к делу по-ленински: захотел все и всем в стране разделить поровну. В результате богатейшая страна досталась нескольким десяткам, может, сотням жирных и хитрых котов, остальные десятки миллионов получили шиш с маслом.

Но только не Левко. Растерянные от такой шоковой терапии миллионы жителей понесли свои последние деревянные, обесценивающиеся со скоростью падения репутации страны, в его «Вист-кредит». Левко смело обещал им во всех газетных рекламах по сто процентов навару в год. Потому что через год каждый деревянный тогда терял не сто, а до тысячи процентов. Возвращал Левко через год, как и обещал с наваром в сто, себе же оставлял девятьсот. То были золотые годочки для таких, как Левко, и немудрено было, что все это так же по-дурацки закончилось в девяносто восьмом году. Сама государственная казна не выдержала этой экономики «по-Левко» и лопнула как пузырь. Зарулили страну в этот дефолт те самые, стоявшие тогда во главе, ваучерные «менеджеры».

Банк «Вист-кредит» лопнул вместе с государством. Левко рассудил, что уж если государство не отдает своих долгов, то он не сделает этого подавно. Все его деньги давно были на оффшорах. Он за несколько месяцев почувствовал неладное: его государство, как проигравшийся в пух и прах картежник, начало занимать деньги у кого только могло и под любые проценты.

«Вист-кредит» исчез. Просто сняли вывеску и заперли все двери. Но еще был десяток или около того тех, кто оставался должен самому банку. И порядочно должен. Оставлять им такие деньги было жалко. Но те тоже, что могли, все запрятали. Поэтому судиться с ними цивилизованно и получить потом копейки, было глупо, да и эти копейки сразу бы ушли на выплату обманутым самими «Вист-кредитом» вкладчикам. Оставалось обратиться к бандитам. Так Левко познакомился с Ребровым.

Обедал Левко всегда в своем просторном кабинете. Он вообще не любил отсюда отлучаться надолго. Повсюду, куда только можно было тут кинуть взгляд, – на столах, даже на стенах, – мерцали и шевелились таблицами и графиками компьютерные мониторы. Биржи всего мира отчитывались ежесекундно перед ним по результатам его рискованных финансовых сделок.

Левко был прирожденный игрок. Он и начал как картежник на сочинских пляжах. Позже в страну пришел с Запада карточный покер. В душных прокуренных гостиничных номерах по ночам он раздевал до гола и до ужаса в глазах богатых кавказцев с продовольственных рынков.

Но Левко ни разу в жизни не зашел ни в одно казино, когда они еще были открыты, ни в одну игорную щель с автоматами. Он играл только в те игры, где шансы и фортуна были на его стороне, а не заведомо на чужой.

Без пяти минут час Левко, наконец, оторвался от своих мониторов, прошел в другой конец кабинета, где у окна был накрыт стол, и внимательно оглядел его. Стол был сервирован в китайском стиле, с голубым изящным фарфором под древность. Левко во всем был эстетом. Во время ланча он любил слушать классическую музыку. Он обожал оперу. Поэтому, перебрав несколько дисков в длинном ряду на полке, подыскивая что-нибудь восточное, он выбрал «Чио-чио-сан».

И здесь, и за рубежом, он посещал оперные театры, у него было много знакомых за кулисами, и даже почти все дамы, которых он приглашал в свою двухэтажную квартиру, были из этих кругов. В такие вечера он выпроваживал из квартиры всю женскую прислугу, чтобы те не взболтнули: Левко был женат. Но жена с сыном большую часть года проживали под Лондоном, тут они бывали только наездами, и это вполне устраивало Левко. Дело было в том, что его шестнадцатилетний сын-балбес учился там в школе. Но год тому назад тот попал в нехорошую историю с групповым изнасилованием. Все мальчики были из хороших семей, но, главное, и эта девочка тоже. Чтобы замять дело, Левко пришлось отстегнуть с болью в душе несколько сот тысяч этих британских фунтов. Дело «полюбовно» замяли. Но после этого случая жена сняла рядом с тем колледжем квартиру, забрала в нее сына, жила там с ним и не спускала с него больше глаз.

Реброва хозяин посадил лицом к окну, сам сел напротив, так чтобы видеть два широких плазменных монитора на стене за его спиной.

– Ну, я тебе «мартини» не предлагаю, но сам, пожалуй, выпью для аппетита, – сказал Левко, теребя в руках салфетку. – Или налить?

Ребров только мотнул головой, поджав губы. Он не пил уже несколько месяцев.

Официантка с белой наколкой в волосах и счастливым улыбающимся лицом принесла и разлила в чашки суп. Когда она закрыла за собой дверь, Левко сказал:

– В следующую пятницу прилетает Володя.

Ребров оторвал глаза от окна, где он рассматривал ворон, сидящих на тополе, и взглянул на Левко. «Вот оно что… – подумал он. – Началось, значит».

– Твои готовы? – спросил Левко. Ребров кивнул. – Ты им обо всем рассказал?

– Зачем, рано еще.

Занялись каждый своим супом, и замолчали. Ребров только попробовал свой, и теперь сидел, гонял фарфоровой ложкой маленьких рыбок в своей суповой чашке. Левко ел с аппетитом и готовился к более важному и интересующему его вопросу.

– Что там с этим Сережей у них приключилось? – наконец, спросил он.

– Говорят, повесился, – и Ребров слегка повел плечом.

– С чего бы это? Такой способный двойник.

Левко рассматривал лицо Реброва быстрым проницательным взглядом опытного картежника. Любой мускул на его лице мог бы его сейчас выдать. Левко этого Сережу видел всего один раз, и то ездил смотреть на него из чистого любопытства, как на шутку природы, – до того походил тот на великого поэта. Но Левко было совершенно безразлично, в какой мир ушел от них Сережа, и встретился ли он уже со своим знаменитым прообразом. Его заботило только одно: не началась ли за его спиной двойная игра. Не надел ли петлю тому на шею сам Ребров.

Но тот на вопрос не ответил, сочтя его за риторический. Потом выловил ложкой одну снулую рыбку и спросил:

– Как, интересно, ласточки их ловят?

Левко снова занялся своим супом. Но под тихую арию несчастной Чио-чио-сан он продолжал думать о неприятном. Он никогда и никому полностью не доверял в своих делах. Но

тому левому политику доверять следовало еще меньше. От такого целеустремленного коммуниста можно было ожидать чего угодно. Его великие цели оправдывали любые средства, – он этого и не скрывал. Но догадаться, какие они окажутся в следующую минуту, было невозможно. Тем более, что по их идеологии банкир Левко был им всем злейший враг.

Но Левко уже скормил им миллионы зеленых. Тот просил еще и еще, и Левко, не задавая вопросов, отчислял ему со своего тощего, как дистрофик, банковского баланса. Но теперь это заканчивалось. Эти несколько миллионов должны были возвратиться к нему с тысячекратным наваром, а то и с большим. Уже через неделю. От силы – через полторы. Но вот только никакого повешенного или повесившегося в их общем сценарии не предусматривалось. Что за дела!

Графики на плазменных мониторах за спиной Реброва вдруг резко зашевелились. Еще с утра Левко заключил две не очень крупные сделки на валютных рынках. Одну с расчетом на рост доллара против евро на лондонской бирже, другую – на падение доллара, но против российского рубля, на московской. Все эти часы до обеда графики на мониторах изображали две кривые пилы, но обе двигались, туда, куда и хотел Левко. Теперь на первом мониторе нарисовалась горка, на втором – крутой горный спуск. Вдруг последние зубья обеих пил осеклись.

– Извини, – сказал он Реброву и почти бегом бросился к рабочему столу. Все в компьютере было у него заранее готово, оставалось только дважды нажать на кнопку мыши, – и обе сделки были закрыты. Очень успешно закрыты. Он заработал двумя пальцами десять тысяч долларов. Пустячок в его положении, но приятно. Да еще это будет и греть его хорошо изнутри до конца дня. Он возвратился к столу в приподнятом настроении. Как раз принесли утку. Когда официантка вышла, первым на этот раз спросил Ребров.

– Так что там с нашими деньгами, Леня? – и Ребров сразу, по той знакомой ему уже двенадцать лет беззаботной гримаске, которую Левко изобразил на своем лице, понял, что очень плохо.

– Пока все по-прежнему. Но один банк обещал нам помочь кредитом. Ничего, прорвемся, Ваня.

– Нехорошо все это, Леня. Ненадежно как-то.

– Через две недели ты будешь миллиардером. Тебя это устраивает?

– Ненадежно…

– Только я тебя прошу, будь со мной честным, сам видишь, какое дело мы затеяли. Нам с тобой надо сейчас, как один кулак! И, пожалуйста, осторожней с этим коммунистом.

– Нашел он себе сумасшедшего?

– Не знаю и не хочу в это вникать. И вообще эти мокрые дела – по твоей части. И не разговаривай со мной об этом никогда.

– Давно ли ты такой чистый стал?

– Давно – не давно, а стал.

– Ладно. Только, наверное, он не нашел никого. Сказали мне, что он нанял какого-то легавого или сыщика. Думаю, для этого.

– Ты его видел?

– Нет еще. Завтра, наверно, увижу, на похоронах.

– Ты присмотрись, прощупай его, – как бы эта мелкая сошка нам все невзначай не подпортила.

Утку ели молча. Ребров опять только поковырял вилкой.

– Что-то ешь ты плохо. Болит? – спросил Левко, не отрываясь от еды и не поднимая головы.

– Аппетита нет.

– Что тебе врач говорит?

– Ничего не говорит.

– Ты хоть спрашивал?

– Когда помру-то? Еще нет.

Левко знал лучше Реброва, когда тот помрет. Он консультировался об этом у одного известного врача. С теми симптомами цирроза печени, что рассказывал ему Ребров, с его кровотечениями из варикозных вен кишечника, он был уже на последней стадии и должен был умереть через полгода, и никак не позднее. Узнав об этом, Левко не огорчился. Нельзя сказать, что он обрадовался, все-таки он считал себя порядочным человеком. Но и не огорчился. Потому, что Левко давно уже боялся Реброва. Очень боялся. Тот даже ему иногда снился в ночных кошмарах. Про себя он даже называл его «нелюдь».

Двенадцать лет тому назад, как оказалось только теперь, он недооценил Реброва. Он думал, что сумеет легко поладить, подчинить или разобраться с тем деревенским полуграмотным пареньком. Но тот оказался много круче, чем он думал, и много умнее. И в своем собственном банке Левко никогда уже не чувствовал себя полным хозяином. Потому что знал, видел сам не раз, что у Реброва только один аргумент для врага – смерть. На самом деле, это был весьма обычный аргумент в деловых кругах в те «лихие девяностые».

Ребров не остался ждать десерт, а Левко его не удерживал. Как только тот ушел, Левко кинулся к своим мониторам на столе и впился в них, просматривая все появившиеся за время его отсутствия цифры. Сегодня эти цифры, или, может быть, звезды на небе, были к нему благосклонны. Он, не глядя, нащупал рукой на своем столе всегда валяющиеся тут ключи от своего «Порше», с длинной медной цепочкой на кольце, и накрутил цепочку на свой палец. Эта медная цепочка была особенной, она приносила Левко «счастье». Он заметил это еще лет двадцать назад, когда был уличным валютным менялой. Он тогда впервые в жизни купил машину – «Жигули», и с тех пор всегда, когда стоял на улице, поджидая клиентов, крутил на пальце эту длинную цепочку. Цепочка с ключом от машины была и зримым знаком его растущего статуса, и одновременно некоторой угрозой каждому, кто бы подошел к нему близко с недобрыми намерениями. А такие намерения были вокруг у многих.

Теперь же, не отрывая глаз от цифр, он надел кольцо от ключа на палец и быстро, весело закрутил цепочкой перед своими мониторами.

5. Похороны

Из-за окатившего меня по дороге ливня я подъехал на мотоцикле к крематорию немного позже. Пришлось сразу искать туалет, чтобы умыть лицо, забрызганное из-под колес машин. Когда я нашел нужный мне ритуальный зал, все уже были в сборе. Но стояли они еще перед дверьми зала, с букетами цветов, дверь должна была вот-вот открыться.

Многих тут я уже знал, и без слов некоторым покивал головой. Стояло тут человек двадцать. Среди них выделялся один, смуглый лицом, с красном тюрбаном на голове. Несомненно, это был индус из консульства, пришедший официально засвидетельствовать переход в мир иной своего соотечественника. Но меня сразу удивило, что все они, кроме индуса, были только его сослуживцами, из аппарата этой партии, почти всех я видал мельком в коридорах их офиса. Тут не было никого, похожего на близких друзей-сверстников Сережи, на любимых женщин, или на родственников. Одни только сослуживцы. Тем более странно, что он был поэтом, и не просто поэтом, а поразительно похожим двойником. Наконец, открыли дверь и пустили всех в зал.

Поэт лежал в открытом гробу, одетый в черный костюм, с белой полоской с крестом на лбу. Букеты цветов укладывали внизу, вокруг, и вскоре за ними уже не было видно полированных досок гроба. За его изголовьем, на отдельном высоком постаменте стоял его портрет. Черно-белый и сильно увеличенный. Только позже я пригляделся к нему. «Боже мой!» – я остолбенел: это был не портрет этого бедного безвестного Сережи, а портрет самого Сергея Есенина. Самая известная его фотография, с пробором посередине красивых светлых волос. Пораженный до глубины души, я оглянулся на всех, пришедших проводить его. Они что, не замечали того же! Что это все такое! Зачем тут портрет великого Есенина! Но все его сослуживцы так же чинно, траурно стояли вокруг, поглядывая на бледное лицо в гробу, на портрет, на цветы…

Меня еще вчера удивило, как странно меня вводят в курс дела. Что бы я ни спросил, все они как будто воды в рот набрали. Как будто все у них было государственной тайной.

Ко мне вчера приставили одну высокопоставленную в их партии сотрудницу, товарища Мячеву. Высокую крупную тетю, с копной светлых волос на голове, в безвкусном платье и с громким голосом. У нее еще были очень длинные и ярко красные ногти. Та принесла мне высокую стопку их предвыборных буклетов, листовок, хвалебных книжек и даже учебник истории Коммунистической партии Советского Союза, и попросила для начала ознакомиться со всем этим. Она явно, или в душе, принимала меня за нового кандидата в члены их партии. С чувством, что я теряю зря время, я добросовестно пролистал все это, и даже просмотрел учебник. Ничего, что бы я не знал до этого, я тут не нашел. Те же лозунги, те же призывы, те же заклинания, что и двадцать пять лет назад.

Наконец, когда она проходила мимо моего стола с видом учительницы, и строго на меня взглянула, я попросил ее остановиться.

– Я просмотрел, спасибо, очень интересно, – сказал я. – Но, мадам, меня сюда пригласили работать. Потому, что у вас тут скоро что-то произойдет. Что произойдет? Что? Кто мне это скажет?

Сначала ее глаза округлились, как у рассерженной учительницы, но потом вдруг скосили испуганно влево и вправо, будто опасаясь чужих ушей, и даже рука у нее чуть было дернулась испуганным жестом к губам.

– Кто? Кто вам это сказал?

– Ваш Генеральный секретарь мне это сказал.

Мне даже показалось, что я ненароком обидел ее, потому что у нее начало меняться лицо, наливаясь дополнительной краской.

– Я… я не уполномочена обсуждать с вами это.

– Кто уполномочен? Покажите мне его. Я теряю здесь только время.

– Читайте пока. Я узнаю. Внимательно читайте. – Он повернулась и почти бегом пустилась обратно, откуда только что пришла.

До конца дня я проскучал за этим столом, почитывая учебник истории и дожидаясь кого-нибудь авторитетного в этой партии, прохаживаясь иногда для разминки по коридорам офиса, и разглядывая партийцев. Так и не дождавшись вчера никого, я, наконец, плюнул на все это и уехал.

В крематории у изголовья гроба стояло почти все политбюро этой партии: Фомин, Мячева, – прочих по фамилиям я не знал. Первым выступил с речью Фомин:

– Товарищи! Друзья! Сегодня у нас скорбный день, мы провожаем в последний путь нашего соратника, верного ленинца Сергея Есенина…

«Бог ты мой! – подумал я, – фамилию великого поэта зачем же еще приплетать! Ну двойник, ну поэт, но зачем еще это!». Я не знал еще, что и настоящая фамилия по паспорту у покойного была та же – Есенин.

–… Он отдал свою жизнь за наше общее дело! Он боролся до последней минуты жизни. Его слова и стихи на наших листовках и агитках будут еще долго жить, учить и призывать, они поведут за собой весь народ. Скоро выборы. Никакого нет сомнения, что мы победим. Но наш Сергей уже не порадуется нашей победе. Но ты, Сережа, не напрасно прожил свою короткую жизнь, не напрасно ты прилетел к нам из жаркой Индии. Ты выполнил свой долг до конца, выполнил его честно и мужественно…

Фомин еще долго говорил, в том же духе, с надрывом, и мне стало интересно, как реагируют на это собравшиеся у гроба партийцы, я оглядывался и рассматривал всех. Их скорбные до этого лица теперь светились, подбородки их были вздернуты, глаза горели – у мужчин и женщин. Дружинники с повязками, стоявшие до сих пор у дверей, оставили свои места и подтянулись ближе, у них на лицах тоже теперь была радость. Еще я заметил сзади четверых новеньких, незнакомых, только что появившихся в зале мужчин. Я рассмотрел их внимательней. Эти были из другого теста. Лица мрачные, скучающие, у одного даже руки были в карманах. Трое из них очень крепкие, один вообще как боров, и только четвертый был суше, но жилистый и с каменным каким-то лицом. Догадаться было нетрудно: охрана, профессионалы. Те самые, по-видимому, из службы безопасности их спонсора, упомянутого давеча генсеком. Но одеты они были не в форму, а в обычную, по сезону, но подчеркнуто модную одежду.

И вдруг в траурной тишине, ставшей только глуше из-за твердого голоса генсека, я услыхал какой-то шум за дверями. Сначала это был женский громкий разговор на повышенных тонах, но потом он перешел в раздраженные крики. Я подумал, что это доносится из соседнего ритуального зала: нервные срывы, истерики и припадки тут были обычным делом. Но эти крики становились громче, доносились уже рядом, из-за наших дверей. Вдруг дверь в ритуальный зал со стуком распахнулись, и я увидал в проеме двух женщин. Одна рвалась к нам в зал, другая тянула ее за платье и за плечи назад. Наконец, первая женщина вырвалась и с криком «А-а» побежала по нашему залу, расталкивая всех по пути, к гробу. Темная шаль, бывшая на ее голове, соскользнула и, зацепившись за ее плечо, летела за ней черной птицей.

Я стоял недалеко от гроба, у ног покойного, в проходе, и она пробежала рядом. Я близко увидал завитые и как будто светящиеся волосы этой молодой блондинки. Она забежала за гроб, разметав ногами букеты цветов под ним, и уже в изголовье, обессиленная, упала на грудь покойного и стала покрывать поцелуями его лицо. Через секунду ее плечи стали содрогаться от беззвучных рыданий. Генсек Фомин стоял рядом у изголовья, но с другой стороны гроба, он на полуслове оборвал свою речь и тревожно отступил в сторону.

Я оглянулся назад. Вторая женщина так и осталась стоять в открытых дверях, с ужасом на лице. Но все четверо из службы безопасности подались сразу вперед, ближе к гробу, и на лицах у них была теперь не скука, а тревога.

Вдруг блондинка выпрямилась во весь свой рост и повернулась лицом к залу. Я стоял совсем близко, не дальше двух метров от нее. Я вгляделся в ее лицо, в волосы, в яркие губы и мне показалось, что я теряю рассудок, или уже окончательно потерял его. «Господи! – подумал я, похолодев, – Да это же вылитая Мэрилин Монро!»

С моей головой что-то происходило: но эта была, несомненно, она. Великая американская актриса и певица, вечная икона их поп-культуры. Эта был самый настоящий и непреходящий секс-символ Америки. Когда-то в газетах даже писали, что любой мужчина без колебаний отдал бы свою правую руку за одну только ночь с Мэрилин. Это, конечно, был перебор, но так писали. Она была восхитительная, обаятельная и самая прекрасная женщина на свете. Покончившая, правда, с собой, приняв перед сном сверх-дозу барбитуратов, – полвека тому назад.

Я знал эту удивительную женщину по фильмам, по множеству самых разных фото, даже самых рискованных, я помнил ее бархатистый голос, каким она исполняла песенку-поздравление президенту Кеннеди, любившего ее. Я обожал эту женщину, я был влюблен в Мэрилин Монро еще подростком.

Не приходя в себя от шока, я глядел, как завороженный, на эти три лица, перескакивая взглядом с одного на другое. На бледное в гробу, на черно-белое и увеличенное вдвое лицо великого поэта на портрете, на невыразимо прекрасное и самое милое на свете – у этой, несомненно живой, Мэрилин Монро. Была какая-то непостижимая, не доступная моему уму связь между всеми тремя. Загадочная, чудовищная. Ничто не сходилось ни по смыслу, ни по времени. Голова шла, что называется, кругом. Тот, кого она мертвого целовала, чей портрет поставили, как вполне уместный, на этом гробу, лежал в сырой земле уже девяносто лет. Эта блондинка сама родилась только через два года после этого. И тоже должна была бы не рыдать здесь, а находиться в ином мире уже полвека.

– Он не умер! Он не мог! – вдруг закричала блондинка в зал, с надрывом и с сильным англоязычным акцентом. – Это вы убили его, вы, коммунисты! Будьте вы все прокляты! Он не мог, он любил жизнь… Сережа…

Но ей не дали прокричать в зал ничего больше. Один из тех четверых в модной одежде, который напоминал мне борова, подскочил к ней, схватил за руку, за плечи, поволок в сторону от гроба. Но блондинка оказалась на удивление ловкой и быстрой, она вывернулась из-под его рук, потом схватила из-под ног букет цветов и стала им хлестать того по лицу, по груди. В букете были розы, с шипами, и тот, оцарапанный, схватившись за щеки, отступил от нее.

И в этот момент четвертый из них, жилистый, с каменным и каким-то болезненным лицом, прыжком оказался с ними рядом, грубо схватил блондинку за руку, вывернул ее так, что та громко вскрикнула, и без слов толкнул и поволок ее по проходу к двери, между спешно расступающимися перед ними партийцами.

Она уже не держалась на своих ногах, ее поддерживали с обеих сторон и волочили. Жилистый тащил ее с одной стороны, а боров, с другой, помогал. Я не выдержал не потому, что она была блондинкой, а потому, что когда при мне обижают кого-нибудь слабого, я воспринимаю это как личную обиду. Только и всего. Когда ее ноги проволоклись рядом со мной, я схватил жилистого за руку, и всего-то лишь негромко, но получилось – на весь зал, крикнул ему:

– Полегче с дамой!

Тот, даже не обернувшись на меня, просто ударил мне кулаком по руке, в бицепс, и очень больно, так что я отпустил. Они поволокли ее дальше. Моя голова уже не кружилась, все в ней мигом встало по местам, я схватил этого жилистого сзади за шиворот, и рванул на себя. В тишине был слышен треск его модной черной рубашки, и он отпустил руку блондинки, стал

заваливаться назад. Я помог ему, рванул назад еще, и он с размаху опрокинулся на спину, к подножью гроба, затылком в букеты белых георгин.

Я даже не заметил рядом с собой этого «борова». Только уже услыхал снизу, из-под гроба, голос жилистого:

– Не трогай его.

Зал как будто вымер, слышен был только шорох цветов под гробом. Я обернулся: «боров» с поднятым кулаком для удара застыл в полуметре от меня. Здоровенный, выше и много тяжелее меня. Я бы не успел даже поднять руку, чтобы защититься от его кулака. Я отступил на шаг, но «боров» уже послушно и безразлично отвернулся, начал поднимать из охапок цветов своего хозяина.

Я поискал глазами блондинку: она стояла теперь самостоятельно, но с ней под руку была уже знакомая мне товарищ Мячева. Я услыхал:

– Мэрилин, прекрати! Веди себя! – И затем то же самое по-английски, с ужасным акцентом, – Marilyn, stop it! Behave yourself! «Боже, что же это такое! – подумал я, – Ее и зовут так же, – Мэрилин. Тот был Сережа, а эта – Мэрилин…».

Ее уже спокойно уводили, и она больше не сопротивлялась. Но у самых дверей она вдруг обернулась, стала искать кого-то взглядом, и мы с ней встретились глазами. Я глядел в них, и как будто тонул. И вдруг она улыбнулась. Одними лучистыми глазами и чуть-чуть только губами. Улыбнулась мне одному.

6. Отец Мэрилин

Около пяти часов того же дня Фомин нервно ходил по кабинету на втором этаже своего коттеджа. Поминки по усопшему он отменил, как мероприятие церковного характера, поэтому чуждое настоящим коммунистам, но, главное потому, что были они сейчас совершенно неуместны и могли подействовать на всех расслабляюще в эти ответственные последние дни. Он подходил к окну, смотрел вниз на соседние коттеджи, отворачивался и снова ходил, теребя волосы. Этот коттедж в элитном поселке, недалеко от кольцевой дороги, был куплен, с небольшой рассрочкой, на его имя. Он переехал сюда из городской квартиры, где жил с семьей, только на эти ответственные недели перед выборами. И еще потому, что здесь жили его гости из Индии.

Он только что звонил в соседнюю комнату, на этом же втором этаже, но та, услыхав его голос, сразу бросила трубку. Теперь же, походив по кабинету, он снова остановился у окна, и опять набрал ее номер. Когда длинные гудки прекратились, Фомин отчетливо и с расстановкой сказал в трубку:

– Мэрилин, папа обидится. Папа будет плакать. Мы должны ехать с тобой к папе. Сейчас же.

Та ответила не сразу, и он успел подумать, что она закинула куда-нибудь со злости свою мобильную трубку, узнав его голос, но все-таки потом услыхал:

– Хорошо, я поеду к папе.

Фомин сразу же набрал номер Мячевой. Та ждала его звонка на нижнем этаже.

– Мэрилин согласна. Зайдите за ней через десять минут, – тихо сказал он.

Фомин пожевал зубами себе нижнюю губу и снова посмотрел за окно. Еще вчера он полагал, что сможет удержать эту девчонку в узде хотя бы несколько дней. Нужны были только эти последние три-четыре дня, – потом все это будет совершенно неважным. Но сразу после смерти милого ей Сережи ее понесло.

Но это вполне можно было предвидеть. И нужно было ему предвидеть! Любовники. С пятнадцатилетнего возраста. Могло ли быть иначе!

Все было бы ничего. Но вот только после тех ее выкриков, брошенных сегодня в зал крематория про коммунистов, с той минуты все в корне менялось. Она стала теперь открытым, опасным и непредсказуемым врагом.

Фомин пощупал себе подбородок, проверяя щетину, и начал одеваться: свежую рубашку, галстук, костюм…

Когда началась горбачевская «перестройка», когда начал качаться, шататься и рушиться вовеки «нерушимый» Советский Союз, Фомин был уже вторым секретарем райкома комсомола. Это была крупная должность для двадцатипятилетнего выпускника Высшей школы комсомола. Как член компартии с девятнадцатилетнего возраста он сначала воспринимал все новшества заступившего нового Генерального секретаря его партии, как вынужденные меры, совершенно необходимые, по-видимому, в этот момент, – во враждебном империалистическом окружении, да еще при том резком падении мировых цен на нефть, кормившую страну уже четверть века. Он не знал, не учил, и поэтому никому не говорил, что не будь этого подарка природы, – нефти и газа, – и заоблачных цен, державшихся на мировых рынках последние годы, страна победившего в стране социализма давно бы голодала, как это было уже при Сталине, навсегда развалившем сельское хозяйство.

И выступая на комсомольских собраниях на заводах и стройках, разъясняя политический момент молодым комсомольцем, Фомин говорил им:

– Читали про НЭП? Про ленинский НЭП, его новую экономическую политику? Введенную великим Лениным только потому, чтобы буржуи не задушили молодую республику.

Вот и сейчас НЭП. Только очень ненадолго. Мы не отдадим завоевания Октября и коммунизма горстке спекулянтов-кооперативщиков. Не бывать этому! Мы не поступимся принципами! Слава нашей партии! Все, как один, плечо к плечу, мы, комсомольцы, единодушно поддерживаем дальновидную политику партии, под зорким руководством Генерального секретаря партии…

Но уже через год его старший товарищ, первый секретарь, организовал в том же райкоме комсомола торгово-закупочный кооператив. Они закупали неизвестно у кого и неизвестно из чего сделанную, но дефицитную в те полуголодные годы водку и продавали потом на рынках. Зарегистрировали, конечно, как кооператив по внедрению технических достижений. Фомин видел эти высящиеся в коридорах райкома штабеля ящиков с разномастными бутылками без этикеток, заслоняющие даже лозунги и фотографии передовых комсомольцев района, развешенные на стене. Но потом игра пошла крупнее. По документам нескольких безногих ветеранов афганской войны, возвращавшихся тогда эшелонами, и имевших многие льготы, его райкомовцы открыли внешнеторговый кооператив, и уже в открытую, никого не стесняясь. В страну они повезли фальшивые ликеры, спирт «Рояль» и контрафактные сигареты. Деньги пошли уже нешуточные. И хотя Фомин не хотел иметь никакого отношения ко всему этому, но и на его сберкнижку, как одному из старших товарищей, перечисляли долю. Фомин не снял ни копейки с этого счета. Все эти деньги, которых хватило бы на несколько дач и автомашин, так и пропали потом во время «шоковой терапии» девяносто первого года, когда старые сберкнижки просто аннулировали.

Но его райкомовские комсомольцы купались тогда в деньгах. Страна была еще заперта «железным занавесом», выезда за границу простым гражданам не было, волюту купить можно было только на улице, у «жучков», озираясь и опасаясь какого-нибудь «динамо». Поэтому бешенные по тем меркам деньги шли, в основном, на разгул. К их райкому, во дворе, они пристроили сауну, и там каждый вечер продолжались до утра оргии. Еще они сразу накупили себе дефицитных тогда «Жигулей», кипы заграничных, в основном китайских тряпок, и прочей доступной только нуворишам роскоши.

Фомин с трудом узнавал своих комсомольцев. Если бы он верил в Бога или черта, он бы считал, что в них вселился бес. Но он верил только в марксистско-ленинское учение. Крепко верил, и с каждым последующим месяцем все сильнее и сильнее. Сначала он пробовал протестовать, потом клеймить позором этих перерожденцев на внутренних партсобраниях. Но все они, и первый секретарь вместе с ними, выслушивали его речи сначала со скукой, потом с раздражением, а в конце с открытой ненавистью.

Все разваливалось на глазах, весь нормальный привычный мир. Разваливался социализм, завоевания великого Октября, наследие Ленина и Сталина…

Закончилось все неожиданно, в девяносто первом, сразу после путча. Его партию, а заодно и комсомол, лишили – одной лишь подписью на президентском Указе, – сразу всех привилегий. Их было не счесть, этих привилегий, но Фомину жалко было только их щегольское, недавно лишь отремонтированное райкомовское здание.

Все сразу разбрелись, кто куда. Но его бывших товарищей-комсомольцев это нисколько не смутило. Свои партбилеты они запрятывали подальше, и никогда никому о них и о своих клятвах перед знаменем великого Ленина больше не рассказывали. Их интересовала теперь не борьба трудящихся всего мира за свои права, а только собственный карман. Но Фомин оказался на улице, без работы и зарплаты, с одной только горечью и желанием отомстить.

Из коттеджа они выехали через полчаса. Сели втроем на заднее сидение партийного «БМВ», Мэрилин посадили посередине. На ней была утренняя темная шаль. Она сидела и пристально глядела в переднее окно, на бегущую навстречу полосу серого асфальта. Всю дорогу ехали молча. Сначала недолго ехали до кольцевой, много дольше по ней вокруг Москвы, потом

опять в сторону области. Только когда уже подъезжали, Фомин прочистил горло и тихо, чтобы шофер не услыхал, сказал:

– Мэрилин, прошу тебя, не волнуй папу. Ему это вредно. Он может умереть.

Мэрилин ничего не ответила.

Их элегантный «БМВ» свернул с шоссе на разбитый узкий проселок и, помучавшись десять минут на ухабах и ямах в разбитом асфальте, въехал во двор Дома престарелых.

Они втроем вошли в вестибюль двухэтажного деревянного дома и остановились перед пустым канцелярским столом. Тут должен был сидеть дежурный, но он отсутствовал. Фомин раздраженно поглядел по сторонам. В углу на лавочке сидело несколько старушек и старичок, и они теперь во все глаза глядели на гостей. Потом старичок спохватился:

– А, сейчас я, погляжу его, – и он заковылял, держась за поясницу, куда-то за лестницу.

Дежурный был таким же ветхим старичком, но держался он прямее. Сев за стол, раскрыв толстый журнал посещений и взяв шариковую ручку, он строго поглядел поверх очков:

– Документы есть? К кому?

Не доставая и не показывая никаких документов, Фомин сам назвал ему всех троих, и тот только поскрипел ручкой. Но на фамилии Мэрилин остановился:

– Как, как последняя?

– Монро.

– Ага, Монро…. Вспомнил фамилию. Ты, дочка, часто к нему приезжаешь. Все к Седову?

Они поднялись по обшарпанной лестнице, прошли по коридору с протертым до дыр линолеумом на полу, и остановились перед фанерной дверью. Фомин осторожно, и прислушиваясь, приблизив к двери ухо, постучал.

– Александр Иванович, можно к вам?

Как только Мэрилин переступила порог, она с криком «Папа!» бросилась к кровати, упала на грудь старика и громко зарыдала.

Фомин с Мячевой шагнули робко за ней и встали у ног старика. Когда рыдания слегка утихли, Фомин сказал:

– Александр Иванович, мы сегодня проводили Сергея в последний путь.

Старик поглядел на них слезящимися мутными глазами и с трудом ответил:

– Какое горе… какая боль… Спасибо, что пришли. Вы присядьте. – Он выпростал одну руку из-под одеяла и неловко погладил вздрагивающую спину Мэрилин. – Дочка, нельзя тебе так убиваться. Наш Сережа не умер. Ты ведь это знаешь.

– Я хочу к нему, – дрожа грудью и голосом, ответила Мэрилин. – Еще я хочу домой.

– Наш дом теперь здесь, дочка.

– Нет, нет! – Мэрилин быстро замотала головой, и ее светлые кудряшки вылетели из-под шали.

– Мы принесли вам фрукты, виноград. Они вымыты, покушайте, товарищ Седов, – сказала Мячева и стала разворачивать два больших пакета.

Александру Ивановичу Седову было девяносто два года, он был парализован ниже пояса, и его настоящая фамилия была вовсе не Седов, но знал это только Фомин.

Они просидели у кровати еще полчаса, почти молча. Только всхлипывала Мэрилин, сидя на кровати старика. Потом она принялась кормить его виноградом, ягода за ягодой.

– Кушай, папочка, кушай, мой любимый. Теперь кормлю тебя я, как ты нас дома… Я домой хочу, папочка! – и она снова начинала всхлипывать.

Наконец, взглянув на часы, Фомин глазами подал Мячевой знак, и та встрепенулась.

– Мэрилин, деточка, папа устал, папе нужно отдыхать, а нам пора ехать. Пойдем, я тебя умою, приведу в порядок. Пойдем, моя хорошая.

Мэрилин покорно дала себя увести, старик беззубым ртом дожевывал ягоду, и Фомин прочистил свое горло.

– Александр Иванович, он прилетает через два дня, – сказал негромко Фомин и выпрямился.

Старик перестал жевать и вскинул глаза.

– И что вы теперь от меня хотите? – старик действительно устал, он с трудом говорил.

– Все то же самое, Александр Иванович. – Все то же самое.

– Он взрослый человек, а я дряхлый умирающий старик.

– Он послушает вас. Он не может не посчитаться с вашим… требованием.

– Требованием? Я не требовал у него ничего и ни разу за все пятьдесят его лет.

– Тогда все его пятьдесят лет, а заодно и ваши двадцать пять, полетят коту под хвост. Вы тогда напрасно страдали все те годы. Вы напрасно жили! А вы подумали о миллионах, миллиардах трудящихся всего мира? Вы не исполните тогда предсмертное поручение, которое вам дал наш последний и настоящий Генеральный секретарь компартии Советского Союза. Вы обманите чаяния всех коммунистов мира! Вам история этого никогда не простит. Все станет известно очень скоро, и вы покроете себя позором еще при жизни!

– Хорошо, я поговорю с ним, – сказал старик и устало закрыл глаза. – А теперь оставьте меня…

– Самое последнее…, извините. Может быть, вы все-таки согласитесь переехать из этой нищей богадельни к нам в коттедж? А то перед людьми как-то неудобно.

– Ни в коем случае!

Женщин Фомин встретил в коридоре, и сказал им только:

– Папа очень устал. Не надо с ним прощаться, поедем.

В вестибюле он увидал старенькую сиделку их старика и подошел к ней.

– Здравствуйте. Мы видели его. Он очень плох. Вот, возьмите еще на расходы. Не жалейте на него ничего.

– Спасибо вам, тут так много… Спасибо.

Уже когда их «БМВ» выехал на ровный асфальт, Фомин повернулся к Мэрилин и негромко сказал:

– Твой брат прилетает в Москву послезавтра.

Услыхав это, сидевшая рядом Мячева издала сдавленное, но громкое «А-а» и схватилась обеими руками за свою грудь.

7. Предсмертное поручение

Оставшийся в полунищенском Доме престарелых старик, носивший теперь чужую фамилию Седов, был на самом деле легендарным академиком, светилом советской науки, орденоносцем, и даже членом Центрального Комитета компартии Советского Союза. Но было это тридцать лет тому назад.

Как ученый он занимался тогда загадкой органической жизни, но как член ЦК компартии курировал все области биологии и химии в десятках академических институтов. В начале восьмидесятых институт под его непосредственным руководством вышел на эпохальное открытие, которое он не только не решился нигде опубликовать, он даже не обмолвился словом об этом с коллегами за стенами его лаборатории. И правильно сделал.

Речь шла о клонировании. Неотличимом, как бы факсимильном копировании на молекулярном и генетическом уровне любых живых существ. Кое-где-в мире уже пробовали похожее: клонировали овечек, собачек и прочих животных, но те долго не жили и вскоре умирали. Но советский академик-коммунист мог теперь клонировать, – ксерокопировать и чуть ли ни отправлять по факсу – Человека. Требовались только обрезки его ногтей или волос, да пара мазков из интимных мест – его или близких родственников. Но если можно было получить что-нибудь из его собственных внутренностей, или из головы, то было еще лучше.

Почувствовав холодок в позвоночнике от открывающихся перспектив своего открытия, академик мгновенно засекретил все материалы по этим тематике на уровне Первого отдела своего института. На следующий же день он, как член ЦК, записался на прием к тогдашнему шефу всесильного КГБ товарищу Юрию Андропову.

Через неделю он вошел к нему в кабинет на Лубянке спокойным и уверенным шагом. Академик рассказывал, объяснял, как умел, самым простым языком, а тот только молча и терпеливо смотрел на него сквозь очки, не задавая никаких вопросов. Но потом он прервал академика на полуслове.

– Кого вы хотите клонировать первым?

Академик запнулся. Он никогда не думал о первых подопытных, как о людях с именем и фамилией, они представлялись ему всегда, как ученому, чистыми и голыми, как Адам и Ева.

– Мы не думали еще о самых первых. Я полагаю, это оставить на усмотрение руководства нашей партии.

– Хорошо. А вы можете копировать, клонировать, или как это вы зовете, – словом, оживить всех старых большевиков, умерщвленных Иосифом Сталиным? Всю старую гвардию, без исключения.

– Я думаю, да… можно попробовать… – оторопев, ответил академик.

– Нам теперь как никогда, как воздух нужен их энтузиазм, революционный порыв и большевистское мужество.

– Да, мы это сможем сделать, – отчеканил с подъемом академик. – Их генетический материал был дальновидно и надежно сохранен советскими учеными. Он в отличном состоянии: ткани тела, срезы мозга…

– Хорошо. Пока об этом никому. Вы поняли? Теперь это государственная тайна. О моем решении вам сообщат. Пока идите и работайте.

Академик ждал, когда ему об этом сообщат, почти год. И вот действующий генсек, правивший страной более двадцати лет, сошел в могилу у кремлевской стены на Красной площади. И следующим, Третьим за историю, генсеком был избран в политбюро партии бывший шеф КГБ товарищ Юрий Андропов.

Академик сразу объявил тогда в своей лаборатории готовность номер один. Но и без этого все давно было готово. Не имея еще прямого поручения сверху, он давно сумел, пользу-

ясь своим положением члена ЦК, достать срезы мозга и образцы тканей почти всех, из ленинского окружения начала двадцатых годов. Всей легендарной ленинской гвардии большевиков, загубленной Иосифом Сталиным. И не только их. В его криокамерах теперь хранились, и были готовы для первичных экспериментов, ткани многих великих поэтов и ученых. Почти все это поступило из бывшего Института Мозга, куда в двадцатых и тридцатых годах отправляли в тазиках мозги всей тогдашней элиты: для взвешивания и изучения. Полагали, что раскрытие тайны человеческого гения было делом первостепенной важности для молодой советской науки. Для этого института не пожалели даже золота в те голодные годы и купили для него в Германии удивительную машину. Она срезала тончайшие, почти прозрачные слои человеческого мозга, один за другим, как ветчину в хорошем магазине. К сожалению, разглядеть в полупрозрачных розовых пленках загадку человеческого интеллекта так и не удалось. Но их хранили, как величайшее сокровище, каждую пленку между двух стекол, в высоких красивых шкафах из полированного дерева.

Команды академику сверху или, по крайне мере, вызова туда для доклада, все не поступало. Так прошел еще год. Но вскоре академику и его лаборатории стало не до того. Из Афганистана в страну пошли неторопливым траурным графиком вагоны-рефрижераторы с грузом «200». Не с обычным, а с обожженным или разорванным в куски и лохмотья, и поэтому неузнаваемым, не имеющим ни имен, ни фамилий. Академик и весь его институт теперь употребляли свои знания и опыт только на генетическую экспертизу останков, для установления личности каждого, чтобы отдать павшим героям последние почести.

Только в конце восемьдесят третьего года, перед самым Новым годом, неожиданно позвонили из секретариата ЦК. Но академика вызывали не в Кремль и не в здание ЦК на Старой площади. Он должен был прибыть в Центральную клиническую больницу. Для встречи лично с генсеком Юрием Андроповым.

В ранние декабрьские сумерки его черная «Волга» миновала шлагбаум КПП, на малой почтительной скорости скользнула по заснеженной березовой аллее и остановилась около главной в стране больницы. Надев белый халат, академик молча последовал за дежурным врачом и личным помощником генсека по пустынным широким коридорам. По пути только почтительно вставали из-за своих столов офицеры охраны и медицинские сестры. Перед дверью одной из палат его оставили одного, и в больничной тишине он услыхал, как громко бьется его сердце. Наконец, его пригласили войти.

Он не сразу рассмотрел генсека. В палате было сумеречно, несколько неярких ламп освещали только аппаратуру у стены, столы с медикаментами и стеклянными приборами. Он рассмотрел сначала широкую, специальную кровать, больного в ней, и блестящие гибкие трубки, уходившие под простыни из большого аппарата, стоявшего на полу в углу палаты. Затем, увидал синюшное, одутловатое лицо, глубоко утопленное в подушке. Он не сразу и узнал генсека, которого больше помнил по портретам в газетах. Но в эту вторую их встречу генсек сразу улыбнулся ему, приподнял с кровати руку и сделал ею дружеский, приглашающий присесть жест. Академик присел на стул рядом с кроватью, теряясь, как ему почтительней вести себя с больным. Но генсек неожиданно и слишком громко для больничной палаты заговорил первым.

– Давненько мы с вами не виделись…

– Добрый вечер. Как ваше здоровье, товарищ Андропов?

– Какое теперь здоровье! Нет у меня больше здоровья.

С разговором, академик почувствовал себя уверенней, глаза его привыкали к семеркам палаты, и краем глаза он рассмотрел большой белый аппарат в углу, от которого тянулись к генсеку трубки. Аппарат мерно вздыхал с мягким металлическим шелестом, и изнутри слышалось бульканье жидкости. Он догадался, что это была искусственная почка, но видел такой аппарат в работе впервые.

Генсек перевел взгляд на помощника, стоявшего у двери и сказал:

– Поставьте нам что-нибудь джазовое. Дюка Эллингтона.

Помощник подошел к столу, на котором стоял стереопроигрыватель, выбрал и вынул из конверта виниловую пластинку, поставил ее на вертушку. В палате зазвучал джазовый саксофон.

– Немного громче, – сказал генсек, и саксофон зазвучал громко даже для гостиной в квартире. – Так хорошо. Идите.

Как член ЦК, академик знал о некоторых личных интересах их лидера. Знал, что тот был первым из череды коммунистических вождей, кто понимал музыку, предпочитал классический джаз, и даже сам собирал коллекцию пластинок. Но этот громкий джаз в больничной палате, около вздыхающей искусственной почки, мог означать только старый проверенный способ партийцев защитить их разговор от прослушки. Начиная с тридцатых годов все сколько-нибудь важные разговоры в комнатах советские граждане вели только при громко включенном радиоприемнике.

– Как продвигается ваша работа, – спросил генсек академика.

– У нас давно все готово, товарищ Генеральный секретарь.

– Это хорошо. Вы сами видите, что происходит в стране. Повсеместная коррупция, разгильдяйство, попрание законности. И вдобавок еще эта война в Афганистане. Я пытаюсь навести порядок и… пока не попал вот сюда, делал все, что мог. Ответьте мне прямо, как коммунист, вы можете вырастить из ваших клонов ленинскую гвардию – быстро, ударными темпами?

– Но потребуются десятилетия… – начал было академик, но тот оборвал его.

– Нет, это для нас слишком долго. Советский Союз столько не протянет. Нужно быстрей.

Академик впервые в своей жизни услыхал такие слова про Советский Союз, и сказал их ему генеральный секретарь его партии. Поэтому он начал говорить очень сбивчиво:

– У нас есть… в стадии экспериментов, правда… один метод ускоренного развития… Но это очень опасно для их жизни.

– Время теперь решает все. Главное, чтобы они появились среди нас, взошли только один раз на трибуну Мавзолея великого Ленина на Красной площади, и чтобы их увидала вся наша страна, весь мир. Это всколыхнет, вдохнет во всех нас утраченный энтузиазм, зажжет революционное пламя в каждом коммунисте. Нам достаточно только этой искры, чтобы зажечь огонь в груди коммунистов всего мира, и он уже будет негасим, как это случилось семьдесят лет назад. А после этого ваши клоны могут уйти, они выполнят свою историческую миссию. Вы понимаете меня?

– Да, товарищ Андропов. Но, к сожалению, самое быстрое, что можно сделать, это – год для клона за два обычных человеческих. Быстрее ничего не получится, иначе, они умрут слишком рано.

– Это уже лучше…, может быть, и успеем. Может быть. Другого выхода все равно, я вижу, у нас больше нет.

– По вашему приказу я могу начать процесс зачатия буквально завтра.

– Нет, нет, ни в коем случае! В этой стране их растить категорически нельзя. Тем более двадцать лет, – это минимум, как вы говорите. Вспомните, какая кровавая участь ждала многих российских царевичей, не исключая и последнего. Поэтому вы должны будете уехать из страны. Уехать под чужим именем, и прожить на чужбине все эти долгие годы. Вы согласны на это?

– Я коммунист, Юрий Владимирович.

– Я не сомневался, спасибо. Кое-что я уже обдумал. Северокорейские коммунисты правят своей страной тверже нас, они не теряют свои идеалы, как мы, они на десятилетия переживут нас, – вы, разумеется, должны правильно понять мою откровенность. Поэтому вам нужно ехать туда. Я распоряжусь, чтобы начали прощупывать почву. Но потребуется чем-то их заинтересовать в этом проекте. Например, вы сможете заодно клонировать и Мао Цзэдуна? Он лежит в Пекине в Мавзолее, наподобие ленинского, и нужный генетический мате-

риал, поэтому, значит, есть. Корейцам захочется взять верх над друзьями-китайцами, и они вас радушно примут. У вас будет много детворы, и станет еще веселее.

– Конечно, я готов все исполнить, Юрий Владимирович.

Пластинка в проигрывателе еще не закончилась, значит, генсек говорил с ним не более двадцати минут. На прощание тот только слегка кивнул академику и закрыл глаза.

Уже через месяц Юрия Андропова не стало. Академик смотрел по телевизору, как по заснеженной Красной площади везли на пушечном лафете гроб с телом генсека, и комок подступил ему к горлу, а в душе он чувствовал, что главное дело его жизни не удалось, и он, как коммунист, прожил свою жизнь напрасно.

Прошли еще полтора года. За это время успел заступить в должность и умереть еще один Генеральный секретарь партии, началась горбачевская «перестройка», а великая коммунистическая держава медленно, но неотвратимо начала сползать в пропасть капитализма.

И вот однажды летним вечером, когда академик вышел во двор своего дома погулять с собакой, из припаркованной рядом машины вышел человек и направился к нему. Академик обратил на него внимание только когда услыхал из его уст свое имя.

– С кем имею честь? – не очень дружелюбно спросил он, разглядывая в полутьме незнакомца и натягивая поводок рвущейся в сторону собаки.

– Вот мои документы, – ответил тот и протянул ему красные корочки с гербом Советского Союза и буквами «КГБ».

– Я вас слушаю, – сказал академик, продолжая разглядывать в темноте фотографию на пропуске.

– Чтобы вы мне доверяли, – сказал незнакомец, – я могу напомнить вам содержание вашего разговора с Юрием Андроповым полтора года назад. Никто, кроме вас двоих, его не слыхал. Мне его пересказал перед смертью лично товарищ Андропов.

Академик вздрогнул и вскинул глаза.

– Не обязательно.

– Северокорейские товарищи вас ждут. Предсмертное поручение, которое вам дал Юрий Владимирович, остается в силе. Вы можете выехать на восток хоть завтра.

– Завтра не получится… – в раздумье сказал академик и посмотрел на свои часы.

– Вы уедите вдвоем с женой и, как вас предупреждали, под чужими фамилиями. Детей, как мне известно, у вас нет. Так?

Академик грустно кивнул головой в темноте двора.

– Вы сможете взять туда только одного или двух ближайших сотрудников, если они, конечно, согласятся.

– Но я могу взять с собой хотя бы эту собаку?

– С вашей собакой проблем нет. Но я обязан вам сообщить, наше подразделение в комитете безопасности вела переговоры с корейскими товарищами без санкции нынешнего политбюро и Генерального секретаря, – выполняя лишь предсмертное поручение Юрия Андропова. Вы не сможете впоследствии обратиться к нам за помощью, вы уходите в самостоятельное плавание, рассчитывая только на свои силы. И действовать во всем будете, как коммунист, по своему усмотрению, и по советам корейских товарищей. И самое последнее. Эта длительная командировка – без права переписки. Как космонавты, вы вернетесь, возможно, совсем в иную страну, где вас никто не узнает. Но настоящие коммунисты здесь останутся навсегда, я вас уверяю, и ваш подвиг они по достоинству оценят. У вас есть время все обдумать и отказаться. Конечно же, уважаемый ученый, решать только вам.

Ровно через неделю академик и его жена, с паспортами на имя Седовых, и двое ближайших сотрудников лаборатории, тоже муж и жена, разместив ящики и чемоданы в двух отдельных купе, уехали поездом Москва-Владивосток.

8. Счастье и несчастье

Первые пять лет в Северной Корее были самыми счастливыми в жизни четы Седовых. Радушные хозяева разместили их в закрытом снецгородке, наукограде, в котором местные ученые начинали разрабатывать еще и баллистическую ракету, и даже отечественную атомную бомбу. Под лабораторию им отвели просторный двухэтажный дом, похожий на китайскую пагоду, и познакомили с двумя десятками всегда радостно улыбающихся и трудолюбивых, как пчелы, их новых сотрудников.

Как только Седовы распаковали свои ящики и чемоданы, они начали процесс первого зачатия. При высочайших темпах работы, которые Седов обещал Генеральному секретарю, первый клон появился на свет уже через четыре с половиной месяца. Это была двойная победа – главное, выдерживалась ударная скорость развития клона: год за два. Тогда же состоялось грандиозное празднование этого события с приглашением очень высоких гостей из столицы Пхеньяна.

Через три года у них на лужайке во дворе лаборатории резвилась и счастливо щебетала почти дюжина маленьких клоников, все вылитые легендарные революционеры. Но некоторые беременности в стеклянных аппаратах пришлось искусственно прервать: их генетический материал оказался дефектным из-за ненадлежащего хранения, и мог привести только к уродствам.

Но Седовы, не смотря на это, были счастливы как никогда. Не имевшие своих детей, и всегда мечтавшие о них, они получили, – или даже уместно сказать, – наплодили их почти с десяток. Все клоники звали их только мамой и папой. Это было настоящее, редко встречающееся, счастье.

Кошмар начался, как только неожиданно умер маленький Мао Цзэдун. Еще утром он радостно бегал вместе со всеми по лужайке, а вечером его бездыханное тело уже лежало на лабораторном столе. У всех его новых местных сотрудников и сотрудниц в глазах теперь светилась не радость, а застыл нескрываемый ужас. И действительно, уже рано утром их всех разбудила сирена подъехавшей кавалькады черных автомобилей. Это приехал второй, после президента, человек в этой стране, куратор их проекта. Седов виделся с ним не реже раза в квартал, и даже считал своим другом. Но теперь тот прошел со свитой в лабораторную комнату, где лежал маленький покойник, даже не взглянув на Седова.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.